

1829297

86

Государственная премия РСФСР имени М. Горького

Сергей
Викулов

ПЛУГ
И БОРОЗДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
от 27 ДЕКАБРЯ 1974 ГОДА
ВИКУЛОВУ СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ
ЗА КНИГУ СТИХОВ «ПЛУГ И БОРОЗДА»
ПРИСУЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РСФСР
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО.



Сергей Викулов

ПЛУГ И БОРОЗДА

Стихи

Издательство
«Советская Россия»
Москва
1976

РС

В43

Викулов С. В.

В43 Плуг и борозда. Стихи. М., «Сов. Россия», 1976.
128 с (Государственная премия РСФСР им. М. Горького).

«Всему начало — плуг и борозда» — таким афоризмом начинается книга стихов поэта Сергея Викулова. В ней автор говорит о северной трудовой деревне, о судьбах ее людей, переживших войну и многие испытания, связанные с ней, о тех, кто несет в сердце неизбывную любовь к родной земле, к крестьянскому труду, к быту русской деревни. В сборник также вошли стихи о природе.

Р2

В 70402—173
М—105(03)76 139—76

Издательство «Советская Россия», 1976 г.

Цепноть стихов Сергея Викулова не только в том, что они являются естественный силав старого и нового, хотя это необычайно важно само по себе. Можно также сказать, что в его поэзии звучит народное много-голосье, которое так любят в северных деревнях. Ведь ни один сельский праздник у нас невозможен без песен, которые поют все вместе. Конечно, каждый истинный поэт — с различной степенью выразительности — говорит о том, что думает и чувствует народ, что почитает счастьем или горем. В разнообразных токах действительности — положительных и отрицательных — Сергею Викулову счастливо удается улавливать то, что живет в атмосфере времени, что соответствует современному народному характеру.

Биографическая картина Сергея Викулова типична для поколения, родившегося в начале двадцатых годов. Окончив педагогическое училище в родном Белозерске — маленьким, по древнейшем городе страны,— Викулов был в сороковом году призван в армию. Став командиром батареи, прошел в годы Великой Отечественной войны путь от Волги до Дуная, участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, в освобождении Украины, а также Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии, получил несколько воинских наград. В 1949 году выпустил первую книгу стихов, которая называлась — «Завоеванное счастье».

В шестидесятые годы стихи Викулова обрели не только самостоятельность, непринужденность и кра-

сочность, но и заметно выделились народностью, естественностью, мотивами сыновней привязанности к земле. И почти незаметно деревенская тема в стихах расширилась, впитав в себя разнообразие окружающего мира. Лучшие поэмы этих лет «Окнами на зарю», «Против неба — на земле», «Преодоление». Если в «Окнах на зарю» преобладало лирическое пачало, то в «Против неба...» возобладал эпик. Несомненной удачей этой поэмы явились народные характеры, запечатленные в слове. В наиболее удачных образах Викулову удалось сделать то, что требовал от художника Пришвин, — «выйти из себя и себе самому раскрыться в другом».

На большом творческом пути, как правило, бывает книга, подводящая итог многолетней работы. Такой итоговой книгой у Викулова стал сборник «Хлеб да соль», вышедший в свет в середине шестидесятых годов. В него вошли поэмы «Копек на крыше» и «Окнами на зарю» и такие отличные лирические и публицистические стихи, как «Баллада о хлебе», «Песни в старом доме», «У реки».

В самое последнее время поэт обратил все внимание вечной, по ставшей необычноозвучной современности теме: природа и человек. В этих стихах нет ничего от панского «все социального» пантегизма. Нет, наоборот, в них автор выступает в той же роли воителя за народные интересы, которые неотделимы от интересов общегосударственных, от интересов всех народов и всей земли. Викулов нашел свой подход к теме, свой взгляд на природу. А это уже многое значит. У автора был соблазн пойти по легкой дороге и впасть в дидактический тон. Но ему удалось счастливо избежать опасности. Думаю, что поэта спасло то, что тема природы живет у него неотрывно от темы

Родины, которая воспринимается им не умозрительно, а вполне конкретно — с реками, озерами, лугами, лесами, птицами... Старые учебники по эстетике любили противопоставлять красоту поэзии практической пользе. Но мне хочется назвать стихи Викулова *полезными*, ибо в них я вижу редкостное совпадение эстетического с этическим. Явление нечастое, но весьма примечательное.

Поэт и сегодня естественно объединяет стихи о природе с лирическими раздумьями и наблюдениями над современной деревенской жизнью. Великолепна и точна публицистическая нацеленность стихов, посвященных «граям», разделяющим деревню и город, деревенскому клубу, где теперь «не пляшут», раздумьям о судьбах песни.

Чувство природы, чувство родины и народа, слияные воедино, и делают Сергея Викулова, человека незаурядного врожденного дарования, певцом большого социального дыхания, находящего отклик в многочисленных читательских сердцах.

Евг. ОСЕТРОВ

I

КОЛЫБЕЛЬ

ПЛУГ И БОРОЗДА

Всему начало — плуг и борозда,
поскольку борозда под вешним небом
имеет свойство обернуться
хлебом.

Не забывай об этом никогда:
всему начало —
и л у г и б о р о з д а.

Л без начала, яспо, нет конца,
точнее, не конца, а продолженья,
лу, а еще точнее — нет движенья
и, запахт,
завершенья нет. Вещь!

О сколько раз мы —
век сменяет век —
успели утолить познанья жажду
с тех пор,
как сделал борозду однажды
и бросил зерна в землю человек.

Растут, бесконечно множась, города,
Луна
людским становится причалом...
Начало же
остается все началом,
и суть его все та же —
борозда.

Не забывай о нем у пирога
и даже перед сном смежая веки,—
как забывают
о начале
реки,
раздвинув беспредельно берега.

И если стала близкой нам звезда
далекая,—
скажи, не оттого ли,
что плуг не заржавел,
что в чистом поле
вновь обернулась хлебом борозда?

Не забывай об этом никогда.

КИСТЬ РЯБИНЫ

(*Осенние этюды*)

1

...И все же
ложь ты, в паспорте строка!
Я осенью родился,
 а не летом.
И матери свидетельство об этом
важней мне «метрик», взятых с потолка.

В тот день,
как в деревнях заведено,
ей бабушка нагрела спешно башню...

«...И вот лежим с тобой
 и слышим батьку,—
рассказывала мать мне. —
Он в окно
спачала постучал: видать, робел...
Потом ввалился... Прямо из овипа!
В руках — рябина, в волосах — мякина...
Вошел, и в первую очередь — к тебе.
Доволен, вижу. Радуется: сын!
Взглянув, как ты посыпаешь сладко,
сказал шутливо:
— Ох, Сережка с маткой!
Ну, что бы подождать...
 Одип овип
домолотить осталось!»

Те слова,
знать, потому и врезались мне в память,
что я, с тобою в бальке лежа, парень,
о том же сокрушалась и сама.
Закружат батьку, думала, дела.
А я могла цепом-то... И любила! —
И улыбалась, вспомнив: —
А рябина
в тот день, когда тебя я родила,
была такой краснущей — не сказать!
Она росла у самого порога.
Ну, батька, чтоб порадовать немножко
меня,
и вздумал кисточку сорвать...

Слаба теперь уж памятью-то я,
а это, вишь ты, помню...
Ведь не часто
вниманием сердечным да участьем
нас баловали в те поры мужья».

2

Осенний я...
чем дальше жизнь идет,
тем все любят мое
это время года,
когда дожди тихи,
когда природа,
грустя о прошлом,
будущим живет.
Все в будущем —
дано одной лишь ей
надеяться,
когда уже все в прошлом...

И вот опа, соря в полях порошай,
любуется озимых яркой прошвой
и поднимает в небо журавлей.

«Кру, кру!» — над лесом,
голым и немым,
над золотыми скирдами соломы
и надо мною, мальцом белоголовым,
рукой средь поля машущим вслед им...

Мне и сейчас опомнится — «кру, кру!» —
крик журавлей, на юг летящих клином.
И дым голубоватый над овином,
и дух ржаной наполовину с дымом,
и стук цепов согласных поутру.
И озимь,
как залог, что не навек
полям — снега,
а журавлям — чужбина,
что вновь у башни зацветет рябина...

Лишь старше на год станет человек.

3

Что помню я еще о той поре?
Отаву...
Лен, разостланный на лежку...
Капусту... И, конечно же, картошку,
картошку, испеченную в костре.

О, как мы лировали, ребятня,
и как смешно, я помню, «танцевали»,
когда, от жара морщась,
доставали
обугленные клубни из огня.

В нас оживал, должно быть,
предков дух:
огонь и пища — что еще нам нужно!
И ликовали мы,
и хворост дружно
в костер бросали, чтоб он не потух.

А взрослые —
земля была щедра —
нас издали строжили понарошку.
И вместе с нами дули на картошку,
на корточки присев возле костра.

И вновь, склонясь, с корзинами брели
меж взрыхлёнными плугом боровками
и красными от холода руками
картошку выбирали из земли.
Потом мешки вздымали не спеша,
телегу до отказа погружая...

И вечным благовестом урожая
крестьянская их полнилась душа.

4

Теперь те дни безмерно далеки.
Но тянет, тянет осенью в деревню,
когда в ней источится дух варенья
и уберутся все отпускники.

Когда там бродят зябко по сгорпе
одни стада...
А стежки поразмыло...
Когда природа кажется унылой,
печальной и безрадостной...

А мне,
а мне она, когда идут дожди
и омута полны листвой опавшей,—
меня кажется тогда она уставшей,
как мать с новорожденным у груди.

И просветленной...
Безмятежен взор
осенней,
долг исполнившей природы:
просторны рощи, и прозрачны воды,
и тих земли и пеба разговор.

Спят где-то голосистые грома,
скатившись гулко с плеч высоких лета...
Лишь слушают
тоскливы посвист ветра
под крышами глухими закрома.

5

А в избах, у порогов, сапоги,
резиновые — пышущая мода.
А в кадках —
леса дар и огорода,
а в печках — с мясом щи и пироги.

Спешить — куда?..
Начнется день едва,
а глядь, уже и вечер на крылечке.
И хлещет дождь в окошко.
И в прищечке
потрескивают весело дрова.

На улице — глаз выколи — темно.
Но вон, светя фонариком неярким,

с работы возвращаются доярки,
ребята пробираются в кино.

А старики, спровадивши внучат, —
им не тягаться с ними: клуб не близок, —
позевывая, смотрят телевизор,
«Скорей бы подморозило», — ворчат.

Всю почь капель: буль, буль...

А по утрам
опять дымы стекают с крыш покатых.
И, красные,
на белых комьях ваты
рябины кисти рдеют между рам.

6

Когда огонь в иечурке догорит,
а дождь зарядит, будто бы навечно,
люблю я выйти в шубе па крылечко,
где дядька вечно что-то мастерит.

Поправив молотком в рубанке сталь,
то брус стругает дядька мой, то доску ..
А я курю в сторонке папироску,
туманиную оглядываю даль.

Какой отсюда на деревню вид!
Вон лес, куда я бегал за грибами.
Вон через речку мост...
А вон и баля —
та самая... Она еще стоит.

Мы и теперь в пей моемся...
А вон,
пред банею, вся в ягодах, рябина.

И только мамы нет...
И нет овипа.
Подгнивший, па дрова распилен он.

Накрапывает дождь...
И все сильней
воспоминанья мне сжимают горло.
Нет, время, пет,— еще не все ты стерло,
не все ты стерло в памяти моей.

И начинаю я по одному
припомнить всех жителей посада:
чей с краю дом стоял?
И чей с ним рядом?
Кто в третьем, опущенном, жил дому?

И в пятом, там, где листьями сорят
высокие березы — осень, осень —
и в двадцать пятом,
возле старых сосен,
что тучей над деревнею парят?

И вслух считаю: — Тридцать...
тридцать два...
А дядька вдруг вздыхает:
— Было сорок. —
Я ежусь: холодок течет за ворот...
И зябко прячу руки в рукава.

ТРИ СОСНЫ

Ах, как они стояли, боже мой,
те три сосны!..

Бывало, что под вечер
спешишь с корзиной с озера домой
и ждешь, все ждешь,
как с другом, с племи встречи.

В своем kraю и на своей земле
они стояли посредине луга,
поотстраиваясь вальяжно друг от друга,
как три богатыря павеселе.

Стояли и шумели...

II чубы

силетали... А в чубах сновали штахи.

И крепко пахли смолкой их рубахи,

и бронзой поблескивали лбы.

Никто в деревне не считал им лет;
оказалось всем —

стоят они тут вечно.

...Шешу опять к знакомому крылечку.

Вот луг. Вот та тропа.

А сосед нет.

Не узнаю знакомые места.

Гляжу на три широких нивы средь луга
и чуть не плачу: горько...

Словно друга
в живых я,
возвратившись,
не застал.

Не слышно шума сосен с высоты:
распилены и свезены к сараю...
Что с вами, люди? —
голову ломаю.—
Такой не пощадили красоты!

ОНА МНЕ МАТЕРЬЮ БЫЛА

Критик мой, ты меня не брань,
что я кланяюсь снова с грустью
деревенскому захолустью...
Критик, ты меня не брань.

Я не хуже, чем ты, лист пепла,
знаю — не по твоим уставам,—
что приходит деревне старой,
как ты выразился, конец.

Ах, далось же тебе шпынить
за грехи мепа!.. Это просто.
Ты б попробовал, стрелы острая,
прежде душу мою понять.

Да тебе ли понять, тебе ль,
что деревня была мне смала
та же добрая мама...
Мама,
очень старечьякая теперь.

Что она мне, сыну, дала
душу, слово, характер, силу.
Научила любить Россию
и добро отличать от зла.

...Вот стою перед ней, седой,
нежно гляжу ее морщины.

не ребенок уже — мужчина,
кстати, тоже не молодой.

И умом понимаю: да,
отжила... — А в полях моторы:
— От жила-а... —
слонно эхо, вторя!
— От жила-а... —
гудят провода.

Но душой — хоть меня убей,
хоть живым зарой вместе с пею! —
я жалею маму, жалею,
низко кланяюсь в ноги ей.

Вновь и вновь обращаю взор
к пей: хочу — продолжатель рода —
знать, как праотцы жили —
Федор
и — по матери — Алафер.

Благосклонна ль была судьба
к ним? Чем были они известны?
И какие певали песни?
И удачливы ль на хлеба
были?

Очень хочу я знать:
глубоки ль и где мои корни?
А она уже и не помнит
ничего о праотцах, мать...

Да и песни — стара, стара —
мама тоже перезабыла.

А ведь помнила. И любила
петь их в долгие вечера.

Мне ль корить ее? Не корю.
Нет, другой одержим я целью.
— Ты была моей колыбелью,—
тихо старенькой говорю.

Я сбежал с твоего крыльца,
а в руке — горбушка ржаная...
И спасибо тебе, родная,
что пе холила ты мальца.

Пригодилось и это мне,
выручало меня порою
и особенно — я не скрою —
на жестокой па той войне...

И хорош бы я был, хорош,
если б вдруг, не призвавши сына,
мама: «Чей ты?» меня спросила
и «Откуда, куда идешь?»

НА КРЫЛЕЧКЕ

Летом девичий сон недолог.

Летом Зинка

едва в кровать
зaberется, откинув чолог,
а ее уже кличет мать:
— Дочка, сбегай-ка по водичку!
— Счас... — А губы у Зинки спят.
И глаза еще спят,—

хоть спичку
ставь! — закрыться все норовят.

А маманя брапится: — Эка
ты засоня! — па Зинку зла.
«Пожалела бы человека...
Ведь сама молодой была»,—
Зинка думает, просыпаясь.

И на старелький половик
ставит ноги и, как слепая,
по шатучим доскам сарая
в избу топает нацрямик.

Умывается по-за печкой
и выскакивает, бодра,
с коромыслицем на крылечко —
два — на левой руке — ведра.

Раз, два, три!.. — по ступенькам.
Донце
о другое донце звенит.

Раз, два, три!.. А ступеньки
солице,
солице красное золотит.

Вдруг —
как будто поймали Зинку, —
встала, смотрит: вот тут, рядом
(если б только рядом — в обнимку!)
просидела она с дружком
до зари... Вот на этой самой,
верхней, вымытой добела...

Ох, услышала б только мама! .
Ладно, крепко она спала...

— Дождик будет! — уверил Зинку
парень. И позвал на крыльцо.
Зинка прятала все в косынку
раскрасневшееся лицо.
Закрывала ему ладонью
губы: — Видишь, уже рассвет...

А про дождичек и не помнит:
был он, дождичек, или нет?..
Да и почь-то была ли тоже?
Может, это всего лишь сон?..
За калитку ступила — боже! —
у колодца машина: он...
Наклоняясь, в радиатор воду
цедит струйкою из ведра...
А в машине полно народа —
едут сено сгребать с утра.
Зинка, как ни в чем по бывало,
шасть к колодцу!

А оп ей вслед:

— Дождик будет опять, пожалуй...
— Да откуда? Ни тучки нет...
— Будет, бабы... Спросите Зину...
(«Вот бессовестный, вот нахал!»)

**А парнишка уже в кабину
сел и кепкою помахал...**

РЕВНОСТЬ

«...У клуба, конечно, конечно, под тополем
гармонь-то поет! У девчонок в кругу...
А я еще лугом, а я еще по полю,
ботинки в росе замочивши, бегу.

Ха-ха! И штаны — до коленок!.. Отпаривал,
залетка, паглаживал, делал стрелу!..
А Васька-то как с ней вчера разговаривал...
Сорокой вертелся пред ней па колу!

Ну, пет, брат... Не выйдет!

По этой по тропочке
побегай-ка столько, помни-ка траву...
Я, может, седьмые сегодня подметочки —
роса-то какая! —
на ней оторву!

Пусть скажет Алепа да свет Николаевна,
сколь темных почей недоспал я в году...
Меня, чтоб ты знал, и собаки облавить
давно перестали, когда я иду.

Да я бы давно уж — дорога недлинная —
ее запевестил, тебе доложу,
когда б не мамапя. Бубнит: «Не малина, мол...
Небось не осиплется!»

Бот и хожу...

А ты тут... Меня — не тебя она тешила,
при публике, да! в намереньях прямая

сама мне гармошку на правое вешала,
за отводом, в поле, спимала сама!

Аленка — она, брат, такая характером!
И вот что, студентик, запомни ты впредь:
ее от меня не оттащишь и трактором,
а ты... бородой захотел оттереть!

Хо-хо! А приличную скорость-то выжал я!
— Приветик, ребята! — Здорово, садись!
Тю-тю!.. А ведь Васька-то, рожа бесстыжая,
с Аленкой опять же танцует, кажись...

Ну, точно — с Аленкой!

Ах, маменька родная!
Взглянула бы ты, что творится-то тут...
Малина, малина она огородная!
Сорвут — не осыплется... Точно сорвут!»

НЕ ПЛЯШУТ

Виктору Бокову

«В нашем клубе теперь культурно.
Ребята теперь не пляшут...»

*Из речи зав. сельским клубом
Маши Р.*

«Не пляшут!
Вышла эта мода.
Произошел большой скачок
в культурном уровне народа,
о чем за два последних года
я вам и делаю отчет.

Не пляшут!
Танцы, только танцы!
Ребята,
если взглянуть
со стороны,
как иностранцы,—
не уступают им ничуть!

А то, бывало, нету сладу
с шальными...
Выйдут: бух да бух!
А нынче — танцы до упаду,
часа по три-четыре кряду,
и без особого догляду —
свет лишь бы только не потух.

Стеснялись, помнится, сначала,
«трясучкой» даже звали твист...
Но я на это не серчала,
сама их лично обучала,
пластики ставил гармонист.

Теперь мы с ним
танцуем оба.

Теперь в углах уже никто
не жмется: кончилась учеба!
Жаль только —
нету гардероба:
танцуем в шубах и пальто...»

Ах, Маша...
(Вы простите, Маша,
что я успел на карандаш
взять ваш отчет.)
Итак: и е и ля ш у т...
Мне показался, Маша, страшен
и очень горек опыт ваш.

Чему вы радуетесь, право?..
Ужели не известно вам,
что пляска русская,
как лава
громокиняющая,
со славой
прошла по всем материкам?!

Да, с ярым топаньем и свистом!
Да, с частой дробью!
— Эх, ходи! —
И с неизменно голосистой,
завороженной гармонистом
трехрядкой русской на груди!

Под переборы той трехрядки
кто не бросался вихрем в круг?

Чьи не гвоздили о пол пятки?
Кого веселые бесяtkи
не доводили до присядки?
Откуда прыть возьмется вдруг!..

Эх, туфли мои,
поски выстрочены!
Не хотела выходить
сами выскочили.

Не руки —
крылья распластались!

А из-под ног —
огонь, огонь!
Да можно ль, русских, пас
представить
без русской пляски под гармонь?!

В ней — паш характер: взрыв и буря!
Коль подкатило — расступись!
Не усидеть нам, глазки щуря,
коль забаянят вдруг,
ни в жись!

Но нам не в том одном улада,
чтоб половиц не пожалеть.
Душа великая отрада,
притопнув вдруг,—
послушай, лада! —
еще и песней прозвенеть:

Милая, красивая,
свеча пеугасимая,

горела, да растаяла,
любила, да оставила.

А было раз:

кипя отвагой,—
те дни не так уж далеки,—
распив, что было в наших флягах,
мы в плоццадь —
в плоццадь у рейхстага! —
вбивали лихо каблуки!

Вбивали, сбросив с чубов каски,
напротив черных төх дверей...
И помнят недруги —
не сказки! —
гром той победной русской пляски
яспней,
чем грохот батарей!

II будут помпить,—

так-то, Маша...

Сомнений нет на этот счет.

А вы: «У пас теперъ не пляшут...
Произошел большой скакок...»

Не верю вашему уставу!
Как говорили в старицу:
«А я и в гроб ложиться стану,
а лаптем все же болтапу!»

В ЗАЩИТУ СТАРИКОВ

Суетливы, на руку скоры,
слышал я,
мудрецы в очках
позатеяли разговоры —
даже споры —
о стариках.

Не для истины — для «инстанций»:
— Поглядите! — подняли крик,—
сколько бродит картиных старцев
по страницам последних книг.
И, что важно, они нередко
мелют только, а не куют!..
Тешась щами да квасом с редкой,
с обветшалой моралью предков
пред читателем предстают.
Много ль нам от таких «героев»
толку? Что у них за душой,
кроме жалоб на незддоровье
да охоты к речам
большой?

Позабыв, что давно с базара,
и утратив былую прыть,
не утратили старцы дара
утомительно говорить.

Дайте им разойтись — замучат!..
А между тем о жизни самой

представленья их столь дремучи
и отсталы, что боже ж мой!..

Что на это сказать,
ответить?
Да, померк он для старцев, свет...
Но
в семнадцатом
старцам этим
было... двадцать неполных лет!
Двадцать!
Слышите, пустомели?
Мир от бури глох. И они
по-за печками не сидели,
труса празднуя, черт возьми!

Ну, а после,
утерши лбы-то,
по вокзалам, цехам, дворам,
что наломано и пабито,
дядя, что ль,
за них
подбирал?!

Или:
кто на лютых морозах
зажигал Магнитки огни?
Кто бессменно ломил в колхозах?
На лесных делянках?
Они!

И хватило б тех дел, ей-богу,
им,
чтоб чтили их век сыны!

А они еще вспомнить могут
и четыре
года
войны.

Смерть просеивала сквозь сито
жизни — выжили!..

И опять,
что наломано и набито,
им же выпало подбирать.

Старцы — всё они испытали.
Так с каких это пор, с каких
нам,
расправившим крылья,
стали
утомительны речи их?!
Представленья о жизни — косны
и дремучая, как лес, мораль?

Я к вам, старцы, иду с вопросом:
— Где

и как закалялась сталь?

Чем силен и могуч отроду
был народ мой?..

В конце концов
дети,
вечно

блюя природу,
брали лучшее от отцов!
Уважали лета и раны их,
чутко вслушивались в слова,
— чтоб не вырасти —

пусть Иванами,—
да не помнящими родства.

Меньше, старцы, вас год от года
и, что сделаешь, глуша речь...
Память ваша —

память народа.

Нам ее для сынов
беречь!

ПЕРЕКУР

Солнышко усталое катилось
за полдень, сжигая синеву...
Мужики закладывали силос,
весело работали, красиво...
Покурить присели на траву.

Крякали, подбрасывали шутки:
«Не стишки писать, мол... — в адрес мой.—
Тут, мол, сбросишь лишнее за сутки!»
И дымились мирно самокрутки,
и вились стрижки над головой.

А потом,
большой, простоволосый,
фронтовик бывалый, пыле дед,
Клим Вольнов сказал, окурок бросив:
«У меня, Васильевич, вопросик
есть к тебе... Ответишь али нет?»

«Что ж, давай...» От Клима жди подвоха:
я насторожился. «Значит, так...
Тут одип из вас... того... —
со вздохом
начал Клим.— Смотался — ну, епока!—
за границу, мать его растак!

Я прошел войну и зпаю: худо —
и серебежчик... Это ж пе в кино!

Ты вот и скажи теперь: откуда,
из какой губерни он, пуда,
родом?»

«А тебе пе все равно?»

«Все равно?.. — И Клим прищурил узко
левый глаз.— А вдруг он мне родня?!—
Сплюнул и добавил зло и грустно:—
От его фамилии-то русской
теперь-то ведь легла и па меня.

И такое чувство в результате:
будто он из нашего полка,
перебежчик этот и предатель...»
«От своей фамилии-то, кстати,
он отрекся,— вставил председатель.—
Так что...»

«Ха, утешил старика!
Да ведь этим самым он мне в рожу
залепил еще один плевок,
гад ползучий!»— лихо подытожил
Клим Вольнов.
«И мне,— сказал я,— тоже...»
Что я тут еще добавить мог?!

КОГДА СЫНОВЬЯ НА ВОЙНЕ

Приду, бывало, к ней,
напротив сяду
и — как же, мол, в войну-то ты жила?

— Да как... — вздохнет. — Четыре года кряду
все плакала, все слезоньки лила.
Как грянуло,—

от Коли ни словечка...

А я все жду. А я креплюсь и жду.

Увижу почтальоншу —

на крылечко

бегу встречать: не верую в беду.

А почью — лягу —

кровь, все кровь мне снится.

Толкую сон: «О доме затужил...

Живой...»

А немцы, слышу, у столицы.

А Коля — в пограничниках служил...

От батьки-то в те дни как раз,
помята,

пришла-таки писулечка одна.

«Ох, где-то наши, Катенька, ребята?

Увидимся ль, как кончится война?»

И все...

И больше не было ни срочки.

И скрашивали боль мою и грусть

твои — я получила их — листочки,

я их читала бабам наизусть.

А если не писал и ты, Сережа,—
не знала я, куда себя мне деть...
Одно лишь оставалось мне — о боже! —
на ваши фотокарточки глядеть.

Вот прибегу растрепанная с поля —
и к карточкам, лишь двери отворю:
«Сережа, добрый вечер. Здравствуй, Коля.
И ты, отец, здорово!», — говорю.
Одну, другую карточку с комода
сниму...

А в горле ком — не проглочу.
И так вот день за днем —
четыре года:
то плачу, то работу ворочу.

А бабы —
им не все же горе мыкать:
его хватало, горюшка, па всех, —
наладятся в какой-нить праздник выпить,
да съяна-то забудутся — и в смех.
А мне так дико это все —
ушла бы!
И грудь теснит:
вот-вот сорвусь на крик:
«Да как вы это можете-то, бабы,
смеяться-то?! А вдруг да в этот миг
кого-нибудь из ваших ненаглядных
убило?! Крикнул: «Мама!» — и затих...»
А отойду: «Смеются — да и ладно.
Поплакать
будет времечко у них...»

Н верно —

редкий день без причитанья.
Услышишь — аж мурашки по спине!..

Нет материам страшнее испытанья,
чем то, когда их дети на войне.

ПЕСНЯ О КУЗНЕЦЕ

Ивану Шилову

Мы с тобой и в самом деле
много соли вместе съели.
Много вместе на веку
искурили табаку.
И едва подсохнут лужки
на дорогах, снова я
по веленью старой дружбы
в наши трогаюсь края.
Любо в кузнице просторной
мне, прибыв издалека,
постоять с тобой у горна,
прикурить от уголька.
Расстегнуть рубахи ворот
и, загнувши рукава
до локтей, обрушить молот
на металл — и раз, и два...
Бить, не выступит покуда
пот горячий на спине.
Я ль об этом позабуду?!

Впрочем, речь не обо мне.

1

Возле речки, там, где ивы
ловят в струях голавлей,
ты идешь неторопливо
с полным кузовом углей.
Вспоминается болото...

В сорок памятном году
там лежал ты с пулеметом
в атакующем ряду.
Был и был неутомимо,
чудом целый и живой
в пекле том...
Но взвыла мина
над твою головой.
И, задев верхушку елки,
полыхнула жаром вниз.
Глубоко ее осколки
в тело белое впились.

Эта порция металла
не была тебе мала.
Смерть тебя уже пытала —
вынес. Жизнь свое взяла.

Подлечился — и в дорогу,
к детям, к женке поспешил.
И принес к ее порогу,
кроме праведной души,
два захватанных, бесплатных
деревянных костыля,
да шинель, да дух палатный
от казенного белья.
Ох, была нелегкой встреча.
Жгли махорку старики
да тужили... да весь вечер
женки плакали в платки.
Детвора глазела с печки.
И сидел ты — не герой,
а всего солдат увечный —
перед этой детворой.

Что к чему — ребята знали!
Убеди-ка их поди,
что герой ты, коль медали
не бряцают на груди.
Спорить с этою ватагой
было попросту грешно.

(Да, пе мало за отвагу
храбрецов награждено.
Только, может, больше втрое —
ведь сраженье но парад!—
незамеченных героев,
неполученных наград.)

Впрочем, нет, не о наградах
ты печалился в ту ночь:
шла война, и было надо
чем-то женщинам помочь.
Так и этак толковали,
но клонили к одному:
— Коли можешь, поковал бы,—
в поле ты нам ни к чему.
— Что ж,— ответил,— ваша воля.
Но болела бы нога...—
А уж так хотелось в поле,
в рожь высокую, в луга!

2

Посевная, посевная,
небо — чашей голубой.
Сторона моя родная,
вновь я встретился с тобой!
Опьяненный ветром венним,
тропкой к кузнице иду.

— Дядя Ваня, друг сердечный,
с добрым утром! Честь труду!

Мы, конечно, оба рады
новой встрече: минул год.
Нам, пожалуй, сесть бы надо,
покурить... Но у ворот
трактор, в копоти, в автоле,
молчалив и зол па вид,
одинокой фарой в поле
с нетерпением глядит.
И пока его ты чинишь,
примеряешь там да тут,
словно низшие по чину,
кои очереди ждут.
А до кузни утром рannим
долетает с белых мхов
свадебное бормотанье
лирохвостых женихов.
— Дядя Ваня,— говорю я,—
слышишь, вся земля гудит!—
Сокрушаясь и горюя:
— Слышу, парень,— говорит.
Намекаю осторожно:
— Может, сбегаем на ток?—
Он в ответ:— Оно бы можно...
Сам о том грущу, браток.
Знаю, срок настал. Не рано.
Да ведь как уйдешь? Дела!
Да к тому же, парень, рана
на ноге не зажила.—
Я краснею перед другом
и, смущен, молчу! Шабаш!

И висит, набитый туго,
бесполезно патронами.

3

Целый день над наковальней
ты вздымашь молот свой,
ты, хотя не идеальный
для меня, а все же — герой!
Знатокам иным в угоду
я бы мог сказать о том,
что ты пьешь одну лишь воду,
кипяченую притом.
И что ты в ладу с культурой.
И нередко в поздний час
засыпаешь над бронюкой,
благо их полно у вас.
Ходишь в клуб с женой вместе,
далеко глядишь вперед.

Но бывает, коль по чести,
чаше все паоборот.
Не хочу тебя обидеть
ложью: ты и так хороши.
На порожке кузни сидя,
я гляжу, как ты куешь.
Вскинешь молот зло и быстро:
— Гха! — и влепишь по бруски.

Словно пули, брызжут искры,
пот струится по виску.
И летит от наковальни
в даль и ввысь, под облака,
молодое кукованье
работяги-молотка.

Варят сталь мартены где-то,
где-то в космосе, похож
на далекую планету,
спутник мчит... А ты куешь!
Где-то люди, суесловя,
начиная ядом ложь,
бомбы новые готовят
на тебя... А ты куешь!
Руки — сильные на диво,
как кувалды — кулаки.
Ты куешь — и зреют нивы!
Ты куешь — гудят станки!
И луга цветут, и птахи
гнезда вьют в родном краю!..
Я в твоем широком взмахе
нрав России узпаю!

ВТОРАЯ НЕСНЯ О КУЗНЕЦЕ

1

Я едва ль добавлю что
к грядущей
славе дядьки Вани — кузнеца,
коль скажу, что он неравнодушен
к чарочке зеленого винца.
Потому что, «долговязый дьявол»,
пьет он, в ппку бабьему суду,
не втихую, не под одеялом,—
пьет у всей округи на виду!

Я и сам видал, как, фартук сбросив
в кузне,
атамапом атаман,
выходил он, чтоб в тени березки
облегчить заказчика карман.
Или, как за столиком в чайпухе
он дымился, балуясь «чайком»,
как клубились, взвизгивая, мухи
под его тяжелым кулаком.
Как он, налит по уши «Столичной»,
после мимо кузницы катил,
кузницы, какую самолично
«Ресторан «Березка» окрестил.
Как ступал он, и большой и грузный.—
словно был в ногах его металл,—
как, остановясь напротив кузни,
сам себе негромко бормотал:

«Ох ты, ресторан мой, ресторанчик,
полый от снегов и до снегов,
сколько па углях твоих горячих
я испек железных цирогов!
Сколько лет, коряя над делом всяkim,
под твоим дырявым потолком,
в бога, в душу,

я не вилкой брякал —
брякал по железу молотком.

Сколько раз под лязганье металла,
с той поры, как кончилась война,
па твоем полу меня шатало,
не совру, шатало без вина.
Может, кем-то это и забыто...
Но не мною, пет! Была пора,
ставил я копей па все копыта,
а случалось, — ставил трактора!»

...Ставил. Точно.
Оп, кузнец, ни капли
тут не привирал. И потому
перед ним порой ломали шапки
даже преды — кланялись ему!

— Выручи, Васильевич! — И взглядом
ели: понимали, что почем...
И в сельмаг — он, благо, с кузней рядом,—
посылали за магарычом.
Паливали до краев хмельную
чарку — чтоб не только по усам...
И спасал им дядька посевную,
хоть самих порой и не спасал...

И менялись преды — год от году
чаще,— без особенной возни.
Дядька же — ковал! Ему отроду
не было замены, черт возьми!
Летом ли, зимою ли — ковал он!
Ну п — в пику бабьему суду —
пил в железку, «долговязый дьявол»,
пил у нолрайона па виду.

Я, случалось, письменно и устно
бил его за это наповал,
бил по самолюбию, по чувствам,
к совести и к разуму взывал...
«Видишь ли, Сережка,— отвечал он
шуткою па проповедь мою,—
дело в том, что силы воли мало,
ну, а водки много... Вот и пью».

Я в ответ жестокие примеры
приводил: «Подумай, старила!»
«Так ведь с ней и думать-то, с холерой
некогда... Бездумная она!
А вообще-то — думать, дело ваше...—
И швыряя окурок за плечо.—
Я ведь у железа — не у каши.
Мне ковать, покуда горячо!»

2

...И онять
гулянка в доме дядьки.
Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят:

Шурка с Вовкой — двое довоенных,
старших, с шевелюрой негустой,
и Сережка — младшенький,
в Елену,
в мать... По счету ежели — шестой.

Сразу видно: он и есть причина
сабантуй в доме кузнеца.
Ты развейся по полу, кручина,—
в армию забрили молодца.
Пляшет, свесив голову хмельщую
перед мамой: «Мама, не суди!
Уезжаю в сторону чужую...
Ты поплачь у сына на груди».

Батька бьет с досадой по колену
нятерней: «Сережка, не трави
сердце матке! Слыши?!
А ты, Елена,
словно красна девка, не реви!»
Где там!
Накатило — не уймется,
знай, глаза углом платочка трет...

Да и самому ему не пьется
нынче, да и водка не берет.
Он вздымает руку над застольем,
но дрожит предательски рука:
дядька провожает не шестого
в армию,—
последнего сынка.
Чокается: «Выпьемте, робяты!»—
не уняв по-прежнему руки.
«Значит, так, Сережка: ты — в солдаты.

ну, а мы, выходит, в старики.
Ну, а наше времечко па убыль...
И вообще: вдвоем во всей избе!
Вот что ты,
смехач наш белозубый,
натворил! Не совестно ль тебе?!"

Шутит дядька.
Хочет скрыть, что горько
на душе, а сам о том опять:

«Двое остаемся, мать... А сколько
было их у нас — не сосчитать.
Этот в зыбке,
те, вдвоем, на печке,
эти под тулупом на полу...
Ну, а летом, окромя крылечка,
богатырский храп в любом углу.
И под пологами на сарае,
и на потолке без пологов...

Этакая музыка играет
на заре, бывало, будь здоров!

А проснутся —
ставь чугун карточки
и в придачу хлеба каравай.
А обедать сидут —
все по ложке
зачерпнут, и снова подливай!
Ну, а если в баню —
сто одеждек
припаси, такая ведь орда.

Ах, ребята, как вы быстро все же
разлетелись
из гнезда.
Да хотя б поблизости, по селам...
Так ведь нет... Такая, звать, пора». «Хватит разговоров невеселых,
батя! Нету худа без добра!—
Шурка подмигнул братанам:— Пету!
Зря ты тень наводишь па плетень.
У тебя ведь, как наступит лето,
праздник в доме
чуть не каждый день!
Тот с женой,
тот с внуком-шишгалетом
прикатил... И встреть, и проводи.
У тебя все лето на столе-то
харч не деревенский, погляди...
Постоянно в кадке бродит пиво...
И совсем не зря по деревням
люди про тебя твердят: «Счастливый!»,
зависть не скрывают: «Сыт ч пьян!»

«Да, счастливый!
Правильно решили
люди... Уж такой во мне замес!
Немцы десять раз меня убили,
я — пазло им — десять раз
воскрес!
И пришел!
И встал опять у горна.
Встал не по указке чьей-то, сам!

Я — счастливый. Верно...
Но и гордый!

Гордый потому, что сам с усам!
Потому что отродясь не бегал
от работы:

молотом стучал,
печки клал, оковывал телеги,
и дома рубил, и мед качал...
Вот оп, на столе...

А ну-ка, с медом.—
Чокнулся.— Вы вот что знать должны:
пуще-то всего перед народом
вами я горжусь, моп сыны!
Вами...
И еще хочу заметить:
счастлив я не тем, что ем и пью,—
счастлив,
что вы есть на белом свете,
посите фамилию мою.

Но бывает — маюсь думой, старый:
вдруг да снова... грянет...
Ведь тогда
шестеро Ивановичей встанут,
встанут в строй для ратного труда.
Встанут, молодые, стиснув зубы,
зная точно, биться за кого...

Родине, конечно, будет любо.
Ну, а пам-то с маткой каково?!

Для них и бессонными почами
нам не знать тогда забот иных:
всех вас шестерых жалеть,

в печали
писем ожидать от шестерых».
Шурка перебил:
«Опять ты, батя...
Ну, не тронь ты этого, не тронь...»

Замолчал. Вздохнул:
«И верно, хватит.
Хватит! Будем петь. Бери гармонь!»
Ахнул («Хорошо, стервец, играет!»)
и запел, подавшись вперед:

«Елена мухи раздувает,
а Ваня железо кует...»

Песня
на мотив, что знает каждый.
А слова — всего один куплет —
сами из груди его однажды
вырвались...
И лучшее песни нет
для него с тех пор.

Ведь так бывало,
что жена — и это не пустяк! —
в самом деле пламя раздувала,
ну, а он ковал... Бывало так!
А порой брала — хватало духу! —
и кувалду, и лупила: и-на!..
К дому ж (он сворачивал в чайнуху)
шла, гремя кирзовыми, одна.

Шла, почти бежала: к дому, к дому!
(«Пастухи, паверпо, пригнались».)

И цеплялись па ходу к подолу
Колька, Ленька, Васька — заждались.

А Сережка, головой кудельной —
весь в нее — белая впереди,
ревмя из тележки самодельной
на руки просился...

«Погоди,
погоди, сынуля... Вот Пеструху
подою да загоню овец...
Васенька, а ты беги в чайнуху —
он тебя послушает, отец...
Только ты не бойся... Он за стопку,
ну, а ты... «Я крикну: дем домой!»
«Правильно... Чтоб денежки без толку
он не тратил больше, батька твой».

...Может, это вспомнилось Елене,
может, что другое,— не понять.
Уронила руки на колени,
глянула зареванно опять
на застолье...

Дядька, тяжелея,
издали Сережке покивал:
«Плачет... А с чего?..
Тебя жалеет!
Потому как дома не живал
настояще...
То ты в интернате,
то ты в этом самом ПТУ...
А теперь вот в армию укатишь...
Жалко — доведись тут хоть кому.

Ну, да ладно...— Он гармонь потрогал
и сказал — отец, глава семьи:—
Вот что... Попляши-ка ты, Серега,
мать в остатний раз повесели!»

И когда Серега встал и бухнул,
он, окинув взглядом молодца,
крикиул: «Эх, сюда б еще Колюху
да и Ленъку из Череповца...
Всех!

И пусть бы грязнула, ретива,
на иолу на этом молотьба,
пусть бы — он притопнул — раскатилась
батькина по бревнышку изба!
Рухнула бы, словно от тарана...
Только б —

 мне таиться не с руки!—
знали все, какие у Ивана
выросли ребята-мужики!
Уж они пойдут — так без оглядки...»

...Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят.

ПИШИТЕ ПИСЬМА МАТЕРЯМ

Поют гитар походных струны
в тайге, в горах, среди морей...
О, сколько вас сегодня, юных,
живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге —
то там объявитесь, то тут...
А ваши матери в тревоге
вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
слова роняя невпопад...
Коль рано матери седеют —
не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
или скитаясь по морям,
ночаше все-таки, ребята,
пишите письма матерям!

РОЖДЕНИЯ 1945

В ту осень стояла погода
на славу... И было как раз
начало учебного года.
И в школу,
впервые в свой класс,

пришли, молодого раденья
п, ясно, волненья полны,
счастливые дети,
рожденья
четвертого года войны.

Стояли мальчишки, девчонки
кружочком у школьных дверей,
держа по привычке ручонки
худые
в руках матерей.

А сзади, видавшие виды,
в сиянии скромных наград,
стояли отцы-инвалиды
и глаз не спускали с ребят.

Не баско одеты, обуты
ребята, да суть ведь не в том...
Значительность этой минуты
поймут они только потом.

Учителка медлить не стала
и, первой взойдя на крыльцо,

«Пожалуйста», — мамам сказала,
«Прошу!» — пригласила отцов.

И вот, на ученье азартны —
все было в новинку пока, —
ребята уселись за парты,
 занявшими два первых ряда.

А папы притихли. А мамы —
платочки к глазам у стены...
— Как мало, ах, как же вас мало,
ребята, вернулось с войны... —

сказала учителька, словно
подумала вслух. И в ответ:
— Вы спутали, Анна Петровна... —
пропел ей один шпингалет. —

Мы не были... Вы пошутили...
Мой папа — так точно...
— И мой!
Его там почти что убили,
а он им — ага!.. И домой.

— Вы правы, конечно, ребята,
на фронте и я не была... —
И вновь по незанятым партам
глазами она повела.
И так захотелось поверить
ей в то, что сейчас вот, сейчас
привычно откроются двери
у неё за спиной,
и в класс

Аленки, Николки, Маняшки
вбегут и, волпуясь слегка:
«Мы, скажут, играли в пятнашки...
Совсем по слыхали звонка!»

Так это услышалось ясно,
что вдруг обернулась она.
Да только напрасно, напрасно:
за дверью была типина.

ВОРОНЫ

Шел третий год после войны,
В июле, по обыкновению,
ища желанной тишины,
приехал я в свою деревню.

Иду однажды налегке
по-за околицей и вижу,
как,
по-мужичьему бесстыже
ругаясь,
с палкою в руке

гопяется итичница ворон:
— На вас бы, проклятые, пушку! —
И вдруг — ко мне: —
Опять урон!
Опять угробили песушку!

Шугаю вот, а толк каков?!

Ну, если б ястребы, так ладно...
Не стало, видишь, мужиков —
вот им и сделалось повадно.

— Как так? — спросил я, удивлен.
Нет, даже вскрикнул, не поверив: —
Чтоб куры гибли от ворон?!

От этих гадких? Этих серых?!

— Да, милый, я тебе не вру.
Сама дивуюсь: то ли куры,

как говорят, и вправду дуры,
то ль, как у многих на миру,
у них трусливые натуры...

Едва ворона два крыла
распустит,— глядь, уже иная
со страху будто умерла —
и не шелбхнется, дряниая.

Присядет этак вот, жалка,
и ждет, и ждет свою судьбину...
А эта серая карга
ей преспокойнейко на спину —
и клювом — тук! — по голове... ·

Тут ей, простушке, и кончина.
Идешь — валяется в траве...
Ты попугал бы их, мужчина.

Я снял двустволку со стены
и, яростный, вогнал патроны
в ее тяжелые стволы:
— Ужо вам, серые вороны!

Клюв свой пося, как долото, —
орлы! — вы мните друг о друге.
Кто здесь отплатит вам?
Никто!
Поскольку куры лишь в округе.

Ну, а на бабье «кыш!» да «кыш!»,
на трепыханье юбки в разе
взираете вы нагло с крыш,
не шевельнув крылами даже.

...К курятнику по борозде
подкравшись, встал возле куста я
и выглянул:— Так вот ты где
пируешь нынче, вражья стая!—

Сверкнул огонь из двух стволов —
и грянул гром. Свершилась кара.
И начался перенолох
среди их серого базара.

И понеслось на крыльях: кар-р!
Через реку, через болото...

Швырнул я — точен был удар! —
одину из серых за амбар
и в тишине промолвил:
— То-то!..

КАРТОШКА И ЦВЕТЫ

И. А. Ожерелкову

Весной —
дела житейские прости —
сажали все картошку в огороде.
А он сажал
картошку и цветы,
хотя была картошка только в моде.

Весь день гремел протезным каблуком
меж гряд —
с войны вернулся он кафкой...
И все его считали
чудаком,
хотя он был нормальным человеком.

Но шел иной за тридцать три версты,
чтоб чудом чудака
полюбоваться.
А он дарил, дарил, дарил цветы,
вновь чудаком рискуя показаться.

И дрогнули,
как ни были глухи,
сердца людей:
все чаще под окошком,
где до сих пор жирели лопухи,
цветы вставали.
Рядышком с картошкой!

РОССИЯ

1

Россия — росы и сиянье.
И значит — утро,
значит — свет.
И расстоянья, расстоянья —
без них России просто нет.

Эх, птица-тройка!
Не с того ли
нам век тревожили сердца
и скрип полозьев в зимнем поле,
и чудный звон колокольца?!

Не эта ль, злая,
с дней творенья
любовь к стремительной езде,
порвав земное тяготенье,
нас,
первых,
бросила к звезде,
к тому мерцающему свету?!

И озарилась па века
завороженная иллюпета
лихой улыбкой ямщика!

2

Любимый цвет России — алый,
а непокой — ее судьба.

Все знают:
с краю не бывала
вовеки русская изба.
И нам педаром, нам недаром
на все четыре стороны
видны и отблески пожаров,
и гулы дальние слышны.

И дива нет,
что наседали,
ломились в нашу дверь враги.
И мы не скроем, что едали
не только с медом пироги...
Не сладко.
Но не бесполезно!

У нас, отведавших беды,
в крови прибавилось
железа
и поубавилось воды!
Кипенье крови жарче стало.

Но наши недруги должны
знать,
что она осталась алой,
как шелк на знамени страны!

3

Твои березы над водою
люблю... Но мне милей стократ
твое, Россия, молодое
лицо
и твой открытый взгляд!

Ни злобы, ни высокомерья,
ни лжи, ни хитрости в нем нет.
И взгляды дружбы и доверья
обращены к тебе в ответ.

Так смотрят только брат на брата,
коль брат за брата
горд и рад!
Но знают все:

для супостата
есть у тебя особый взгляд.

Белки кровавы, бровь подковой,
над переносицею — медь...
Впервые на поле Куликовом
ты так сумела поглядеть!

И дрогнула орда, роняя
секиры, конъя, топоры...

А у тебя между бровями
осталась складка с той поры...
Пускай она тебя не красит!
Но и в недавние года,
познав, сколь правый гнев ужасен,
с твоих просторов во свойси
бежала
новая орда!

4

Нет, для поборников насилия
уроки времени не впрок.
Им и теперь еще Россия —
большой и лакомый пирог.

Прогуливаясь в отдалёнье,
они на тот широг глядят
и с откровенным воожделеньем
гадают: с чем его едят?

И вспоминают напоследок:
ломоть,
что с краешку лежит,
успел куснуть их давний предок
и, значит, им принадлежит.

Смешны нам эти притязанья...
Пусть
знает
всяк,
решаясь в путь:
широг — Россия, да с глазами,
как говорят у пас в Рязани,—
попробуй лапу протянуть!

5

В глазах России
много сини
озерной.

И голубизны
небесной...
В мире нет красивей
и нет бессоннее страны.
Опа, великая, ни разу,
воз, ей назначенный, везя,
не закрывала оба глаза
одновременно:
ей нельзя.

Смежив одно устало око,
когда над ним луна взойдет,
она немедленно широко
другое к солнцу распахнет.

И от границы до границы,
через Сибирь,
за тот хребет,
покатят вал звенящий птицы
за солнцем вслед,
за солнцем вслед...

ОТ КРЫЛЕЧКА

«...стартовали от крылечка».
Из статьи критика Н.

Да,
я стартовал от крылечка!
И этим, мой недруг,
горжусь!
Крылечко
да русская печка,
да сани,
да в бляшках уздечка —
сама изначальная Русь.

Расправив могутные плечи
и смутных желаний полна,
на небо и землю
с крылечек
веками глядела она.

Поскольку была избиною
и сплошь земляною была,
поскольку, добавлю, иною
пока она быть не могла.

Замученной, ей,
но живучей,
как сын,
заглянув в старину,
ни ланти се, ни онучи
вовек не поставлю в вину!
Напротив,
я буду все боле

дивиться,—

изыди, сатана!—
как в этой жестокой недоле
душой не зачахла она.

Как в ней
совместились счастливо —
и в этом ее высота!—
незлобливость
и совестливость,
достоинство
и прямота!

Земля,
над которой
вместе
с конягой
пластался мужик,
его не учила ни лести
(пусть лучше отсохнет язык!),
ни лжи,
ни торгаществу...

Не был
он мастер купить да продать.
Умел он —
свидетелем небо —
насытиться квасом да хлебом
и нищему корку подать.
Забитого,
долготерпеньем
корить ты его погоди.
Запомни,
что точка кипенья

высокая
в русской груди!
И право,
тебе забывать бы
не след,
говоря о былом,
кто рушил с Емелькой усадьбы,
со Стенькою шел напролом.

Кто,
чашу терпения выпив,
по Зимпему вдарил плечом...
И гнев тот
октябрьский
Великим
Историей был паречен!

И рухнуло рабство.
И с треском
кругом послетали замки...
И к гневу тому, как известно,
причастны в лаптях мужики!

Громили опи супостата,
рубили, оставив дела...
Выходит,
крылечко для старта —
площадка не так уж мала...

Не так и истина, к слову
(как ты мне о том напевал):
мой тезка
русоголовый —
Есенин — с нее ж стартовал!

II

ТРИ КЛАДА

ОНА НЕ СКАЖЕТ...

Из цикла «Природа-Мать»

1

Услышу ль сосен шум в полдневный час,
журчанье ль струй
средь камушков у брода,—
о люди, мыслю я,
у всех у нас
есть Мать одна,
по имени Природа!

У неё для всех хватает доброты.
И мы живем, запечатлев навеки
в душе
ее прекрасные черты —
 поля, луга, леса, моря и реки.

Придите к ней,
 когда у вас печаль,
 и, мудрая, врачую вашу душу,
 Природа
 распахиет
 пред вами даль
 и ветром, как рукой, глаза осунит.

Представит сотню радостных
 примет,
 ромашек простодушных «чет» и «нечет»
 и вечное: «Все суета сует» —
 на языке осинок налепичет...»

3

...И если светлой радости полна
душа,—

справляйте пир

с Природой рядом!

Отзывчивая, щедрая, она
ничем вам не испортит вашу радость.

Краснее окуневого пера
зажжет зарю рыбакскую над плесом,
удачей наградит!
И для костра —
сварить уху —
валежника подбросит.

4

Три клада у Природы есть:
вода,
земля и воздух —
три ее основы.
Какая бы ни грянула беда —
целы они —
все возродится снова.

Но если...
Вырочем, в наш жестокий век
попято всем,
что это если значит.
О человек!
Природа-Мать ни рек
ни морей от глаз твоих
не прячет.

Ни росных трав,
ни голубых небес...
Цени ее доверие, Природы!
Не обмань его!
И в темный лес
входи,
как в храм под мраморные своды.

5

Ты — Человек.
Ты — царь природы. Так.
Поскольку все в ней сущее
подвластно
тебе.
Живи, сверяя каждый шаг,
с Природою.
И будет все прекрасно.

И царские замашки не лелей
в душе,
и не давай себе свободы.

Ты — царь природы, так...
Но зпай, трудней
почувствовать себя
в е и ц о м Природы!

6

Природу покорить?!

Ничьи уста
надменней слов не водали отроду.
Рабыней пашей —

логика проста —
намеревались видеть мы Природу.

Объезжепной лошадкой —
поворнешь
куда захочешь,

лишь тряхнешь уздечкой.

Мы — дерзкие сыны ее!
И все ж...
И все ж пам от нее
зависеть
вечно!

Малыш, припав к груди беззубым ртом,
 улыбчиво кося на маму глазом,
 еще совсем не ведает о том,
 как многим он ей, в сущности,
 обязан.

Не замечает он ни доброты,
 ни ласки материнской,
 ни заботы...
 Ты — взрослый.
 Ешь и пьешь. И рвешь цветы...

Цени Природы-Матери щедроты!

Но ты, оставшись с ней наедине,
легко решаешь:
«К черту бередейство!
Кому-то можно, видите ль,
а мне
нельзя?!»
И торжествует вновь злодейство.

Дымится лес. И пучится река
от взрыва...
Но ни жалобы, ни вскрика
тебе вослед.

Миши лямки рюкзака
скрипят...
Увы, Природа — безъязыка:

Взглянув на то,
 что смято, сметено
 в очередном разбое или раже,
 не утешай себя, что все равно
 Природа никому о том
 не скажет.

Она не скажет, да...
 Но не простит!
 И час настанет —
 лично ли, заочно —
 она тебе жестоко отомстит...
 А не тебе — так сыну.
 Это точно!

10

Случится даль да глушь нам одолеть —
мы шутим, сбросив белые перчатки:
— Закон — тайга,
а прокурор — медведь! —
И в ствол вгоняем порцию свинчатки.

Палим во что попало —
жаден глаз! —
и рубим, и взрываем, и корежим...

Природа-Мать
ждет милостей от нас.
Взять их у нас она, увы,
не может.

«Я не люблю природу!
С детских лет
питаю неприязнь к полям и рекам...»

Слыхали вы хоть раз от человека
слова такие?

— Нет.

— Я тоже — нет.

Все, как один,
на сотнях языков
клянутся ей в любви неистребимой...

Но кто же,
кто «наставил синяков»
ей, всеми нами преданно любимой?!

Речушка вдоль околицы текла.
Негромкая...
Но мы любили, дети,
ее — она ведь первою была
для нас и, значит,
лучшею на свете.

Сейчас в пей всякий хлам,
и ржавь, и слизь
зеленая, и хвощ болотный вылез...

Как будто люди целью задались
убить ее —
и своего добились.

13

От берегов, закованных в гранит,
от улиц, где ни ямок и ни кочек,
нас тянет в луг ли, в лес ли,
где звенит —
не речка —
безымянnyй ручеек.

Ах, плохо ль у воды ли,
на воде —
кто станет спорить!
Но все реже, реже
встречаем мы
зеленый берег, где
пройдешь босой —
и ногу не обрежешь...

Какие снятся рекам чудеса —
нетрудно угадать теперь, пожалуй:
в глубинах отраженные леса
и рыбы,
как блескучие книжалы.

Продравшийся сквозь чащу напролом
и капли с губ роняющий
сохатый,
и белый лебедь,
розовым крылом
по синей глади бьющий,
как лопатой.

...И сели мы за столики.
 Байкал
 за окнами сверкал, переливался...
 Хотелось нить. Я взялся за бокал,
 да зря: графин порожним оказался.

И девушки
 («Что, кончилась вода?»)
 взяла графин — я даже не поверил
 своим глазам сначала —
 и айда!..

Куда?
 А па крыльцо.
 С крыльца — на берег.
 Она не замочила даже ног...
 Вода была,
 как в первый день творенья,
 прозрачна. И вкусна!

И я не мог
 не написать о том стихотворенья.

Лес — самая высокая трава.
Я в той траве —
не большие, как букашка.
Взгляну на ель — кружится голова
и в самом деле
надает фуражка.

А лес шумит...
И словно слышу я
глас чей-то высоко над головою:
«Смотри, не наступи на муравья,
он пред тобой,
как ты передо мною».

Лес для тебя, я зпаю,
лишь дрова.
Но для зверей и птиц он, лес,
жилище.
И закатать по локоть рукава
ты не спеши, сжимая топорице;

не учений в чужом дому разбой,
топор вгоняя в комель с разворота,
лишь только потому,
что пред тобой
в тот дом
всегда
распахнуты ворота.

«Зеленый друг» —
 так пишем мы подчас
 и говорим про лес.
 И в час досуга
 мы павестить всегда готовы друга.
 — В лес, в лес! —
 И он одаривает нас
 всем, чем богат.

Там травы до колен,
 а там грибы...
 Не сбейся только с круга.

Но честно ль это:
 все забрать у друга
 и ничего не дать ему взамен?!

О грибники!
 Я славлю ваш топор!
 И шумный ваш почлег!..
 Всю ночь горели
 пять сосен и четыре стройных ели,
 поваленных вершинами в костер.

Вы на мишуру не смеяли век
 и только по бутылке «раздавили»
 на круг...
 И даже лес не подпалили!

О грибники!
 Я славлю ваш почлег!

20

Ах, трудно ли,
ножом вооружась,
раздеть брезу — тихую простушку —
и нацедить прохладной крови кружку,
и затоптать ее сорочку в грязь!..

Она в лесу останется стоять,,
как черный вскрик,
что где-то рядом рыщет
двупогий зверь
с ножом за голенищем...
И ропча будет в страхе трепетать.

Вам,
 Роберт, Гера, Феликс,
 в чьи глаза
 спяла гладь священного Байкала,

вам,
 кто кинжалом имя вырезал
 на лиственицах,
 выросших на скалах;

вам,
 Эрик, Эсмеральда, Ибрагим,—
 романтикам,
 бичам,
 «землепроходцам»,—
 пою я славу!..

Вдруг да не придется
 прославиться вам чем-нибудь
 другим.

Твержу,
на тополь глядя сквозь окно:
— Есть смысл в великом жизненном
завете:

когда,
хотя бы дерево одно
ты посадил —
не зря гостила на свете.

Но коль тебе на это, старина,
ни разума,
ни воли педостало —
не тронь хотя бы тополь у окна...

И этого с тебя не будет мало!

Что там пи говори, а факт таков —
 сколь пи был бы тебе оп пеприятиен:
 в тайге теперь
 медвежьих уголков
 не больше, чем па карте
 белых пятен.

Гремит тайга!
 Копец медвежьим спам
 во тьме пепотревоженной берлоги!

...А пе везде еще, где нужно нам,
 повален лес, проложены дороги.

Да, силы стали слишком неравны.
 В наш век машин,
 с живой природой в споре
 мы — люди,—
 коль взглянуть со стороны,
 как два боксера разных категорий.

Нам не в пример —
 у птиц и у зверей
 все та же скорость,
 та же все защита:
 клыки да когти,
 крылья да копыта...

Командуй «брек!», судья!
 Да поскорей.

В поля я вышел.
Сто в полях дорог...
А на душе досада и тревога:
кто где проехать вздумал,
кто где смог —
там и проехал. И легла дорога.

След гусениц. И снова след колес,
глубокий след по озимы, по лугу...

Такое чувство —
будто кто панес
жестоко и безвинно рану другу.

От блеска рамп
и праведных трудов,
случайной снедью сумочки папичков,
бежим,
 бежим,
 бежим из городов ,
на «Волгах», мотоциклах, электричках,
чтоб надышаться воздухом равнины
и отоспаться в тишине на даче...

Да, верно:
что имеем — не храним,
а потерявши — тоже верно! — плачем.

...И вот мы на Луне в конце концов,
земляне!
Обернулась сказка былью.
Мы вышли на «крыльцо».
И нам в лицо
пахнуло нежилою
мертвой пылью.

А что там — дальше?
Может, пыль опять?..
Сигналим в космос мы —
ответа нету.
И так нам, людям, хочется обнять
счастливую из всех
свою планету!

Земля...

Теперь мы знаем, что она
одна такая в солнечной системе.
Несется,
вечпо щебета полна,
и плеска вод, и шелеста растений...

На ней есть Жизнь.
И, как всему венец,
на ней есть Разум.
Он могуч. Он может
Жизнь эту
иль украсить и умножить,
иль в прах ее повергнуть, цаконец!

Я говорю:
ты болен, Шар Земной.
В твоей коре ракеты,
как парывы.

Тебя, не раз крещенного войной,
впово лихорадят
атомные взрывы.

Ты плохо спишь —
гудят твои бока.

Когда бы я не знал,
как бьет хвостом
на звонкой жилке щука,
как под осень
ядреный рыжик, стоя под кустом,
росу как будто в рюмочке подносит;

как журавли отчальпую трубят,
как эхо
повторяет рев лосиной,—
боюсь, я не любил бы так тебя,
как я сейчас люблю тебя, Россия!

Когда б я зпал лишь,
как на площадях
шуршит асфальт от шин, горят неоны,
как распивают квас в очередях
и сотрясают небо
стадионы;

как белая лепивая вода
течет в ущельях камених кварталов,—
я Родину любил бы и тогда,
по мне б всю жизнь
чего-то не хватало...

НА ТЕТЕРЕВИНОМ ТОКУ

— Тетерева-то!.. Да какие ноне
тетерева... — махнул старик рукой. —
Поди-ка, их теперь во всем районе
не сыщешь, хоть район-то — вон какой!

Бывало, выйдешь — вся округа стонет.
Теперь — хотя бы гуркнуло... Шабаш! —
И все же, вняв мольбам моим, Афоня
привел меня назавтра на шалаш.

— Ну вот, — сказал негромко, — мы и дома...
Давай сюда... — И, лапником шурша,
я влез в шалаш, уселся поудобней
и взвел курки. И замер, не дыша.

А меж лопаток — дрожь от нетерпенья.
Казалось мне: вот-вот возле куста
он сядет, первый,
и распустит перья
красивейшего, лирою, хвоста.

И, надломив в бойцовском кличе брови,
на все леса и долы возвестит,
что жаждет он любви
и крови, крови
соперника, который прилетит!

И он услышит этот клич, соперник,
и спустится, отвагой клокоча,

к тому кусту... И только перья, перья
по ветру полетят от трепача!

Я наблюдал подобные дуэли
не раз, смиряя дрожь дробовика.
Жду: нету... Жду: ни звука.
Неужели
ты правду говорил мне, старики?!
Но нет!

Я вздрогнул даже — так он близко
и так он громко — щеголь-то какой! —
передо мною прямо приземлился,
ну так, что хоть бери его рукой!

Поогляделся, встряхивая сизый
воротничок, и — грудью на рассвет —
как будто бы перчатку, бросил вызов:
«Чуффи!» — и замер, слушая ответ.

Но не было ответа.
Только ветер
шушукал шумно в крыше шалаша...
«А вдруг... — я вздрогнул, — из живых
на свете
вот этот франт — последняя душа?!

Последний «мамонт» северного края!..
Не мне ль вчера Афоня говорил:
грачей весною с поля подбирали:
какой-то химикат их уморил».

А франт, как первый парень на деревне,
меж тем, чертя крылом, как петухи,

своей воображаемой царевне
читал проникновенные «стихи».

И кругом-кругом, подбравши полы,
и боком-боком, лиру распустив,
и — молодецки — шпорою о пинору
под страстный незатейливый мотив.

То замирал и, шею выгнув грозно,
чуфыкал вновь...
Я глянул на часы
и... выстрелил: — Лети, пока не поздно!
А я поем с Афопей колбасы.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...

Чем дальше в лес иду —
тем все трудней...

Вот ельник —
не пробраться до средины:
одна к одной
не ели, а жердины,
сухие от вершин и до корней.

Земля вокруг них по-лунному мертвa.
А вместо лап — рога...
И мох на каждом.
И тленом
сладко-приторно и бражно
попахивают грустно дерева.

Вздохнув, бреду в обход.
Но на пути
ель
рыбьим фантастическим скелетом
(наверное, упала прошлым летом),
ее решают тоже обойти.

Иду, ворчу:
«Ну, где ж вы тут, грибки?
Вы — рыжики? Вы — грузди и волнушки?
Но на пути опять дерев верхушки
да груды сучьев —
не пробешь из шушки, —
да острые высокие пеньки.

Моя корзина все еще пуста.
А лоб мой мокр...
И я ругаюсь: грешен!
И каюсь в сотый раз:
«Занес же леший
меня в такие гиблые места!»

Ногою ухнув в яму возле пня,
вновь падаю, хватаясь за ольшину.
А та, сломившись сахарпо,
вершину
беспамятно роняет на меня.

Я вздрагиваю:
кажется мне вдруг,
что я один на нежилой планете...
И слышу чье-то пенье —
это ветер
шумит в ветвях.
Печален этот звук.

Душа вниМАЕт чудным голосам,
торжественно рождающимся в небе...
Я не дышу.
Я слУЧАЮ молебен
о ниспосланье радости лесам.

ГЛУХАРЬ

Черный веер хвоста,
дуг надбровных рубины,
по бокам, словно латы,
два сильных крыла,
когти, как у орла,
клюв почти ястребиный —
Мать-природа ему все с избытком дала.

Научила негромкой, но трепетной речи...
И могучим
сумел он себя осознать!
И остался навеки
на диво беспечен:
кто там, что там внизу —
наплевать, наплевать!..

Стают снёги в лесу, устоится погода, —
он, доверясь привычной ему высоте,
древний стих
основателя, может быть, рода
бормотать начинает еще в темноте:

«Тэк-тэк-тэк!»
Запрокинуто жаркое горло,
черный веер распахнут во всю ширину
и расстегнуты латы, и выгнута гордо
грудь в ревнившую, в чуткую ту тишину.

«Тэк-тэк-тэк!..» Пусть расколется небо
и треснет

под сосною земля!

Для него до поры
в мире нет ничего,

кроме собственной песни
и томительной этой любовной игры.

Но на деле —

ах, столько веков миновало! —

в мир давно уж па смену бесшумной стреле
громовые литые пришли самопалы —
сто смертей, коль без промаха,

в каждом стволе!

Ну, а он все поет...

Он, как прежде, бормочет
«стих» свой древний —

и слеп в это время, и глух.

И шаги отмеряет к нему между кочек
смерть...

И носятся в воздухе перья да пух,
где упал он.

Краснеет брусличинкой спелой
в клюве капелька крови... Бледнеет заря...

Не ошибся счастливый охотник прицелом:
очень точно направил смертельный заряд!

Подошел: «Ух, красавец!» — и поднял, помешкав.
Крылья — в стороны сразу: «Не птица, а царь!»
И, качнув головою, добавил с усмешкой:

«По глухары! Удивительный просто

глухарь!»

ПИЛИ ИЗ РЕЧКИ КОНИ...

Реки — не люди.
Но и они — не вечны.
Страшно открыть такое
разуму вопреки.
...Вот она — та дорога,
вот он — тот луг заречный,
мост, где была плотина...
Нет лишь самой реки.

Ласточек сколько было!
Нет...
Берега ошли.
Галечник под ногами,
там, где была вода.
Господи, неужели
в детстве мы здесь купались?!
И неужель мой сверстник
здесь утонул тогда?!

Вздрагиваю: «Не сон ли?!»
Явь — тяжелей кошмары.
Грустно ступаю руслом,
думаю по пути:
как она умирала —
солнечного ль удара,
или — страшней — людского
сил не найдя снести?!

Реченька — ах, узнать бы! —
сколько тебе от роду

было, и что ты, речка,
видела на веку?
С камушка да па камень
ты все струила воду
и, наконец, открылась
первому мужику.

Оп подошел напиться —
воду взмутила щука,
из камышей поднялся
выводок па крыло...
Плюнул мужик в ладони,
крякнул — и начал тбкать:
лес мужику был нужен —
«место краснó зело!»

В полдень, устав, купался...
Думал, присев на бревна:
«Только бы сил достало...
Лес-то — под облака!
Есть и полегше земли —
ясио! Тайга огромна.
Есть... Но ведь тут-то, тут-то....
Боже ты мой,—река!

А ведь река — не только
рыбно там да красиво,
речка — еще дорога,
банька на берегу...»
И поднялись здесь избы,
как и по всей России,
как и по всей России,
окнами на реку.

Сколько с тех пор разливов
было — никто не помнит...
Щуки плескались в речке —
хвост у иных — с весло!
Черпали бабы речку,
или из речки кони —
не становилась мельче...
Что же произошло?

Что же?.. Ступаю ложем
речки, как пебо древним:
здесь вот был Черный омут,
нынче — лишь бочажок...
Видимо, кто-то выше,
ниже моей деревни
меньше любил речушку,
плохо ее берег.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

К погожему рассвету приурочив
событие,

в предчувствии утрат,
осенние березовые рощи
несметным войском вышли на парад.

И радостна была она для взгляда,
и почему-то трогала до слез
торжественность последнего парада
осенних облетающих берез.

Ворвется скоро «зимник» в их пределы —
и все... И лето канет за чертой.
Но прежде чем на землю ляжет белый
снег, —
долго будет падать
золотой.

И, ветками озябшими кивая,
березы будут елям напевать
одно и то же: «До следующего мая!
Счастливо только б
перезимовать...»

К ОЗЕРУ

Не еду, пе еду, пе еду
на юг! «До свиданья!» — кричу
влюбленному в Ялту соседу
и на
Ярославский лечу!

Ни паспорта и ни путевки
со мною, по я пе грущу:
сперва погостюю у тетки,
у дядьки потом погощу.

Хочу разделить их беседу,
их песни послушать хочу...
Не еду па юг я, пе еду —
как итица, па север лечу!

Плевать мпе па прелести юга,
соседушка! Мне пе нужны
ни лежбища
праздного люда,
ни плеск черноморской волны;

ни легкие ваши «победы»,
ни жалкий ваш треп «с бородой»...
Я к озеру, к озеру еду
с глубокой и чистой водой!

Опо, голубея, глядится
спокойно весь дэпъ в небеса.

И, словно густые ресницы,
пад пим пависают леса.

Рыбачит па нем лишь гагара;
нырнет — полчаса пе видать.
Да выводков кряковых пара
жирует — им там благодать.

Да чайки беспечные вьются
иль плавают стаей одной,
белая как сахар на блюдце,
на блюдце с зеленою каймой.

А солнечный луч великаный
с лодочки, при той тишине,
серебряной ложкой в стакане,
бывало, покажется мне.

А сколько в том озере рыбы...
Закипешь — па дно поплавок!
Спасибо, Природа, спасибо
тебе за такой уголок;

за то, что, считая потери,
его ты хранишь до сих пор...
Я выеду в полдень на берег
с добычей — и вспыхнет костер!

Забыт плавниками упруго
в ведерке моем окуньки...
И шумно с соседнего луга
нагрянут к ухе мужики.

Желанных гостей привечая,
я крикну им через плечо:

— За вкусо,
друзья, не ручаюсь,
ручаюсь лишь за горячо!

— И то прибежали недаром! —
ответят, присев у ведра,
и станут хвалить «уховара», —
на это они мастера.

И тысячу всяких историй
расскажут («Записывай, черт!»)...

Ах, озеро! Мой санаторий,
мой лучший из лучших курорт!

Спасибо тебе!
Я не скрою
секрет от тебя небольшой:
над светлой твоей водою
и сам я
светлею душой.

* * *

Если даже и вправду
сотрутся все грани
между городом, как говорят, и селом,
и ученые доки об этом «стиранье»
будут лишь вспоминать,
как о давнем былом;

если вырастут даже свои Паганини
и в селе,
и послушать концерт
города
будут рваться в село,—
все равно между ними
будет грань —
очень резкая грань! —
и тогда.

Ни всесильный прогресс — он грядет! —
и ни годы
не сотрут эту грань.
Человек из села
будет вечно общаться
с живою природой,
на земле —
все на пей же —
справляя дела.
И все будет в нем жить
этая древняя радость
ощущенья колосьев
в зеленых ростках,

групах гроздьев
в ожившей лозе винограда,
листьев — в почках,
и сладких плодов — в лепестках.

Будут воды сверкать бирюзово и ало,
соловьи будут горло росой полоскать.
Будет чистое небо...
А это — пе мало!
Это все в городах
и сейчас поискать.

И быть может: «Ищу подходящее
место», —
горожанин повесит записку в селе.

Ты, читатель, пе смейся:
еще неизвестно,
кто счастливей свой век
проживет на земле.

СОДЕРЖАНИЕ

I. КОЛЫБЕЛЬ

Плуг и борозда	11
Кисть рябины (<i>Осенние этюды</i>)	13
Три сосны	20
Она мне матерью была	22
На крылечке	25
Ревность	28
Не пляшут	30
В защиту старииков	34
Перекур	38
Когда сыновья на войне	40
Песня о кузнече	43
Вторая песня о кузнече	49
Пишите письма матерям	59
Рожденья 1945	60
Воробы	63
Картошка и цветы	66
Россия	67
От крылечка	72

II. ТРИ КЛАДА

Она не скажет... (<i>Из цикла «Природа-Мать»</i>)	77
1. «Услышу ль сосен шум...»	77
2. «Придите к ней...»	78
3. «...И если светлой радости полпа...»	79

4. «Три клада у Природы есть...»	80
5. «Ты — Человек...»	81
6. «Природу покорить?!»	82
7. «Малыш, припав к груди...»	83
8. «Но ты, оставшись с ней наедине...»	84
9. «Взглянув на то, что смято...»	85
10. «Случится даль да глушь...»	86
11. «Я не люблю природу!...»	87
12. «Речушка вдоль околицы текла...»	88
13. «От берегов, закованных в гранит...»	89
14. «Какие снятся рекам чудеса...»	90
15. «...И сели мы за столики...»	91
16. «Лес — самая высокая трава...»	92
17. «Лес для тебя...»	93
18. «Зеленый друг...»	94
19. «О грибники!...»	95
20. «Ах, трудно ли...»	96
21. «Вам...»	97
22. «Твержу, на тополь глядя...»	98
23. «Что там ни говори...»	99
24. «Да, силы стали слишком неравны...»	100
25. «В поля я вышел...»	101
26. «От блеска рамп...»	102
27. «...И вот мы на Луне...»	103
28. «Земля...»	104
29. «Я говорю...»	105
30. «Когда бы я не знал...»	106

31. «Когда б я знал лишь...»	107
На тетеревином току	108
Чем дальше в лес...	111
Глухарь	113
Или из речки копи...	115
Последний парад	118
К озеру	119
«Если даже и вправду...»	122

Сергей Васильевич Викулов

ПЛУГ И БОРОЗДА

Редактор Д. А. Смирнов

Художник Л. Ф. Шканов

Художественный редактор Э. А. Розен

Технический редактор И. И. Капитонова

Корректор Э. З. Дименштейн

Сдано в наб. 14.1.1976 г. Подп. к печ. 7.4.1976 г.

Формат бум. 70×90/32. Бум. типогр. № 1.

Физ. печ. л. 4,0 Уч.-изд. л. 3,75.

Усл. печ. л. 4,68. Изд. инд. ЛХП-11.

Л07047. Тираж 50 000 экз. (2-й завод: 25001--50000)

Цена 49 коп.

Издательство «Советская Россия».

Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Областная типография,
г. Вологда, Челюскинцев, 3

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присыпать по адресу:

Москва, проезд Сапуцова, 13/15,
издательство «Советская Россия».

65 202

Onomatopoeia